

Р. Б. ТАРКОВСКИЙ

К истории повествовательных форм русской басни XVII века

Басня, или — как обыкновенно ее называли в XVII в. — притча, — один из хорошо известных в предпетровской Руси повествовательных дидактических жанров. Чтение Эзопа (на древнегреческом и на латинском языках) включалось в программы западнорусских школ еще в XVI в., а в 1607 г. «Притчи или Баснословие Эзопа Фриги» (145 басен) и его житие появляются в славяно-русском переводе Ф. Гозвинского, тщательнейше выполненном с древнегреческого текста Аккурсианы.¹

Во второй половине века один за другим были переведены еще два собрания басен: «Зрелище жития человеческого» (134 басни), в 1674 г. переведенное думным дьяком А. Винусом с немецкого,² и «Притчи Эзопа Фригийского» (260 притч, вместе с баснями Бабрия и Абстемия), переведенные в 1675 г. «синбирским рохмистром» П. Кашинским с польского.

Так, древнерусскому читателю оказались знакомы не менее 350 различных жанровых фабул — почти полный круг известных впоследствии в России басен Эзопа. И обращаются басни не только в составе переводных кодексов. В тех или иных вариантах они встречаются как самостоятельные повествовательные единицы в различных сборниках XVII — начала XVIII в. — в ряду ли изначально составивших рукопись текстов или несколько более поздними приписками.

Осуществленные с разных языков и лицами различной речевой культуры и социальной принадлежности, эти переводы разнятся и своей идеологической ориентацией и — особенно резко — повествовательно-стилистическими тенденциями, составляя как бы две параллельные, но противопоставленные друг другу традиции: опирающейся на нормы так называемого «церковнославянского» языка (переводы Гозвинского и Винуса) — одна, и на обиходно-деловую и бытовую речь (перевод Кашинского и анонимный перевод басен Локмана) — другая, тогда как общность фабульного материала только подчеркивала их внутреннюю контрастность. Как иллюстрация тут подойдут практически любые сюжетно-аналогичные контексты из переводов той и другой традиций,

¹ См.: Р. Б. Тарковский. Государев толмач Федор Гозвинский и его перевод басен Эзопа. — Вестник Ленинградского университета, 1966, № 14, стр. 104—116.

² См.: Р. Б. Тарковский. Басня в России XVII—начала XVIII века. — «Научные доклады высшей школы. Филологические науки», 1966, № 3, стр. 101—107; Р. Б. Тарковский. «Зрелище жития человеческого». — ТОДРА, т. XXIV, Л., 1969, стр. 249—253.

например из перевода Гозвинского (по списку ГПБ, собр. Погодина, № 1964) и перевода Кашинского (ГПБ, Q.XV.16).

Так, в басне о пастухе и море:

Зиме же зелней сущи и кораблю бедствующу погрузитися, — вся своя бремена и мехи изверже в море, едва токмо сам караблем праздным избавися (л. 80).

А когда великия ветры встали, хотя, чтобы ему струга не заливалось, товар с него выкинул, на силу сам ушел (л. 66 об.).

Или в басне о комаре и льве:

Рече: «Кая ти есть сила и крепость, яко дерещи ногтями и грызещи зубами? Сие и жена с мужем бранящися творит. Аз же зело емь сильнейши тебе. Аще же хощещи, — изыдем на брань!» (л. 105—105 об.).

Молвячи: «Хто сы таков есть, что за богатырь, что зубами кусаешь, а нахтями дережь? Бабье то дело есть, которые мужам своим так бронятца. А я сильнейши тебе, которой тебя могу окрававить. Бейся со мною, аще хочешь!» (л. 97 об.).

И даже в сентенциях, как например назидание к басне о бобре:

Человецы разумни ради своего спасения имения не щадят (л. 72).

Великая то мудрость — для набития и здоровья своего не жалеть денег, аки старые люди сказывают: лутчи утерять ожерелье, нежели целый ковтан (л. 62).

Переводы опираются на различные, внутренне полярные структурно-образные системы. Они противостоят уже не только элементами языка, а и самими способами раскрываемых в них мыслительных представлений — рядами образов и предметов, следующих в потоке повествования.

Атмосфера рационалистической точности и сдержанности языка и серьезный, строгий тон изложения как бы ограждают перевод Гозвинского от всего случайного и преходящего, превращая его в кодекс всеобщих, непреложных и вечных нравственно-этических истин. Но это же являлось отказом от экспрессивно-динамических и, в конечном счете, более образительных и картинных средств языка.

Напротив, в переводе Кашинского разговорная речь стихийно оборачивается большей энергией повествования, живописующей интенсивностью действия и его колоритной окрашенностью. Конечно, еще нет оснований говорить об особых, образительно-характерологических, т. е. собственно эстетических функциях языка в тексте Кашинского, однако в нем вполне явственно стихийное вторжение цепкой образности и экспрессии народной речи.

Но переводы не были единственными источниками жанровой фабулистики в России и не исчерпывали круга басенных сюжетов, знакомых читателям допетровской эпохи. Тотчас же за первым переводом Эзопа являются опыты самостоятельного изобретения басенных фабул по повествовательным образцам «Притч или Баснословия Езопа Фриги». Одна из таких басен, например, находится уже в рукописи 1610-х годов (ГИМ, собр. Уварова, № 170, лл. 72 об.—73), в списке, восходящем к черновой редакции перевода Гозвинского:

Кот, мыши и торокан

Некогда збирающемся мышам и слышавше торокана зело шумяща, и разуме животное коту быти. И хотящим им розно бежати, и умыслиша едину послати от мышей, что есть за шум.

Подождавше же мало мышь и виде ползуца из щели торокана, и поймавши же его, приведоша на соборище мышам. И поругашеся ему кояждо, зубами носяще. И пометавше его на землю, и приступи едина от них, и ухватиша его зубами, и удавиша. Притча (являет), яко не подобает преже видения слухом самим смущатися.³

Оригинальная по сюжету, басня эта, однако, еще следует повествовательным шаблонам Аккурсианы, хотя и не обладает столь компактной и строгой однолинейностью. Так, композиционная посылка притчи уже в завязке перебивается новым мотивом («и хотящим им розно бежати, и умыслиша едину послати от мышей, что есть за шум»), в русло которого и направляется дальнейшее течение фабулы. Мало характерна для Аккурсианы композиционная пауза: «пождавше же мало мышь и виде...», — равно как и сегментация развязки: «И поругашеся ему кояждо, зубами носяще. И пометавше его на землю, и приступи едина от них, и ухватиша его зубами, и удавиша». Но и тут несколько беспорядочная детализация действия не знает, как и Аккурсиана, живописующих и колористических элементов. Что же касается нравочужения, то оно дословно выписано из басни «О льве и о жабе» того же перевода Гозвинского (№ 33).

Повествовательльно более отточена притча «О псе и о мельнице». Сочиненная кем-то из переписчиков, она внесена в один из списков IV редакции перевода Гозвинского (ГПВ, собр. Титова, № 1903, л. 116—116 об., рукопись 1650-х годов) и выполнена в тех же формах нейтрально книжной славяно-русской речи, что и текст самого перевода.

О псе и о мельнице

В некоей веси стояше на реце мельница. И приходваше в нея пес вельми злокозен и лизаше муку. Мельники же того пса многожды биша и от сего отлучити не возмогоша.

Некогда же пес рек к ним: «Не можете мя от сего моего естественнаго нрава отлучити — разве мене извести или мельницу разнести».

Толк: таков убо нрав злотворных человек: аще и наказание над собою видят, но от прежняго нрава не престають, донележе шиблице предани будут.

Примечательна композиционная строгость фабулы, логическая стройность и ясность ее изложения. Экспрессивно выделяется рифмованная концовка. Вместе с тем и эта басня исходной локализацией действия («В некоей веси стояше на реце мельница...»), а также подчеркивающими характеристиками и акцентами («вельми злокозен», «многожды биша») несколько отходит от схематического лаконизма Аккурсианы и следует не столь самому переводу Гозвинского, сколько его позднейшим, повествовательльно ощутимо осложненным редакциям.

Но старший из русских переводов Эзопа только вводит басню в круг назидательно-дидактического, хотя и не лишённого известной занимательности, чтения. Тщательнейшее следование древнегреческому тексту Аккурсианы тут как бы консервировало характер оригинала на русской почве и вело к известной инородности «Притч или Баснословия Эзопа Фриги» изобразительно-речевым традициям древнерусской литературы. Эстетическая ассимиляция басни намечается позже и отражается в экспрессивно-речевом, композиционном и даже сюжетном приспособлении переводных притч к литературно-художественным формам русской книж-

³ Пространнее поздний вариант этой басни в рукописи ГБЛ, собр. Полякова, № 2, лл. 144—145 об.

ности, а впоследствии и фольклора. Приспособление происходило то исподволь, от списка к списку, то более интенсивно, но это, разумеется, совсем не значит, будто сама эта ассимиляция иннервировалась теми повествовательно-стилистическими включениями и акцентами, которые настойчиво вносили все новые и новые переписчики. Однако именно эти акценты свидетельствуют о появлении эстетического отношения к басне, — отношения, которое теснило, а то и заслоняло мотивы сугубо дидактические и назидательные.⁴

XVII веку принадлежат и первые опыты стихотворного пересказа басен, не говоря уже о довольно обычном для притч рифмованном оформлении сентенций (например, в «Зрелище жития человеческого»). Иногда под пером переписчиков стихотворный облик принимают целые отрывки, как например стихи в басне о комаре и о льве, поначалу славившиеся в списках перевода Гозвинского, а затем попавшие в «Зрелище»:

Воструби комар громким
своим гласом великим,
окрест носа львова седяше,
лице его угрызаше.
Лев ногты себе драше,
дондеже вознегодоваше.
Комар же лва победивый,
победную песнь воспевый:
«Сильнии изнемогоша,
а немощнии восташа,
аще полк на мя ополчится,
сердце мое не убоятся!»
Услышав же паука похвалы сия,
постави на пути тенета своя,
где комару летети,
как бы его изловити.
Комар в тенетах спутася
и горко о сем восплакася:
яко сильного льва победих,
ныне сам от паука погибох!⁵

Литературность стиха и речи тут очевидны. Вместе с тем на фоне силлабических версификаций конца XVII—начала XVIII века этот текст невольно привлекает простотой и ясностью стихотворной фразы. Совпадение ярко ритмизированных единиц с синтаксическим членением речи и отсутствие неестественных, пугающих инверсий сообщают стихам известную легкость, непринужденность. Стилистическая же согласованность словесной ткани, чуждой как изощренных метафорических перифраз и ученых архаизмов, так и явно бытовых форм выражения, — обеспечивает внутреннюю слаженность текста, архаичного разве лишь в русско-славенских формах имени и глагола и в некоторых служебных лексемах.

Во второй половине XVII в. литературная экспансия басни нарастает. Сюжеты Эзопа проникают в другие жанры и находят новое применение — в дидактическом стихотворстве и школьных инсценировках, а то и как форма сатирического иносказания о каких-то собственно русских событиях.⁶

⁴ См.: Р. Б. Тарковский. «Притчи или баснословие Эзопа Фриги» в списках XVII—начала XVIII века. Л. (в печати).

⁵ ГБЛ, собр. Тихонравова, № 293, лл. 287—288 об.

⁶ См.: М. Д. Каган-Тарковская. Басня Эзопа «О льве и волке» в русских переделках XVII в. — ТОДРЛ, т. XXIV, Л., 1969, стр. 245—248.

В «Вертограде многоцветном» Симеона Полоцкого (1678) эзоповых сюжетов почти полтора десятка, в том числе столь известных, как басня о петухе, нашедшем жемчужное зерно («Клеветник»), о крестьянине и о змее («Мысль злая»), о матери и о сыне-воре («Нос, скушенный отцу»), о крестьянине, завещавшем своим сыновьям якобы зарытый в огороде клад («Завет»), о связке стрел, которую отец предлагает переломить сыновьям («Согласие»), и ряд других, менее популярных.

Но в традиционные схемы Полоцкий вносит новые мотивы, даже перекраивает самые фабулы и, тем более, заключительные истолкования, ловко повертывая их к темам Евангелия и Псалтыри, с символической интерпретацией подчас каждого фабульного мотива. Особенно тут выделяется стихотворение «Труба» по сюжетной канве басни о незадачливом рыболове. Однако приведу прежде самое басню, известную еще в переводе Гозвинского (ГПБ, собр. Погодина, № 1604, лл. 785—785 об.):

О рыболове и свирелех

Рыболов сый неискусен рыболовства, взем свирели, сиречь дуды, и сети, изыде на море и ста на некоем камени, вначале убо заигра во свирели, мя, яко к сладкогласию рыбы приидут послушати и внидут в сети. И тако многое время пребысть играя, не улови ничто же. Посем отложи свирели и взем сети, вложи в воду, многия рыбы пойма и изложи я от сети и, яко узре их скачущих на земли, рече: «О злейшая животная! егда играх вам во свирели, не плясасте, егда же престах играти, сие творите скачущие!».

Толкование: притча ко иже при словесех и времени настоящее и подобающее творящим.

Но в традициях церковной гомилетики — «море» и «невод» могли быть исполнены и теологической символики,⁷ идущей, в частности, от притчи о неводе из Евангелия от Матфея (гл. 13, ст. 47—50):

... подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.

У Полоцкого оба сюжета — и басня Эзопа, и евангельская притча — смыкаются, один накладывается на другой и сквозь второй преломляется первый:

Труба

Трубитель некий рыбы ловити хотяше
и пришед на брег реки, надолзе трубяше,
Призывая ко себе, но тыи не идяху,
толко во быстрой воде с собою играху.
Он же восприем мрежу, нача я ловити
и заем, множество их на брег извлачити.
Рыбы же, елма из вод извлеченны бяху,
по обычаю, пред ним от нужды скакаху.
Он рече: престаните прочее скакати,
ибо аз уже престах трубный глас даяти.
В не же время трубих вам, в то вы не скакасте,
но елма ях мрежею, скакати начасте.
Не скаканию время ныне вам дается,

⁷ См.: В. П. Адрианова-Перетц. Очерки поэтического стиля древней Руси. М.—Л., 1947, стр. 45—53.

но во сладкое брашно всяка заколется, —
И нача по единой оны закалати
и во пиру мертвыя свою полагати.

Тако грядущий господь во последнем часе
во трубе торжественней в архаггелстем гласе
Над морем мира сего трубит ныне выну
усты проповедников человеку сыну
Всякому: да приходит из пучины к нему,
яко ко истинному господу своему,
Да из глубины грехов к нему притекает
и от адских челюстей тако ся спасает.
Аще убо кто гласа не послушив сего,
играя в бездне хрегов, бегает от него,
Мрежею смерти имат уловенный быти,
ею же никому же подобно избыти.
Изъят же на брег суда, имат не скакати,
но от страха и беды люте трепетати.
Наконец заклан будет ножем казни вечны
и вовержется во ад, в муки бесконечны.
Тамо огнем сжарится и сварится зело,
будет в пищу демоном и душа и тело.
Оле казни лютыя! тоя вси гонзайте,
на глас проповедников к богу притекайте!
Бежите грехов бездны, ко Спасу теците,
донележе есть время, бегством ся спасите.
Не ожидайте мрежи смерти, ибо тако
заятый поневоли не спасется всяко.⁸

Разумеется, тут нет нужды искать внутреннего единства сюжета и его применения. Их совмещение построено только на самих метафорах (и то не полно): «море мира», «глубина грехов», «бездна грехов», «пучина» (однако — «мрежа смерти»), — метафорах, либо совершенно традиционных, либо продолженных по тому же кругу ассоциаций: «брег суда», «нож казни вечны», «адские челюсти».

Проникает басня и в церковную проповедь, хотя служила здесь только подобием («прилогом»), чаще внешним, — а то и просто как атрибут ученой осведомленности проповедника. Для южной Руси это вполне обычно: тут сказывались определенные черты юго-западной духовной образованности, традиции ее красноречия и далее — традиции проповеди католической.⁹

Иной настроенности придерживаются во второй половине века московские ревнители православия. Рекомендации гомилетов византийско-греческой ориентации сдержаннее и строже. «Яко мирской краснословец согрешает, аще в слове своем прилогов церковных или писма святаго часто употребляет... , тако и проповедник слова божия воздержится от прилогов мирских и възыщет прилоги с писма святаго», — предостерегает «Риторика» Софрония Лихуды.¹⁰

Да и самый жанр басни гомилетикой оценивается весьма невысоко. Тот же Лихуда в главе «О предсудии или законе» наставляет судебного оратора: «... басни зело приличны суть честным человеком, егда народословят к людям. Обычай имеют еще басни привлекати сердца человек, изряднее грубьянов и неученых ... Да не часты зело будут, ниже да

⁸ БАН, 31.7.3, лл. 482 об.—483.

⁹ См.: Ю. Ф. Самарин. Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники. — В кн.: Сочинения Ю. Ф. Самарина, т. V, ч. III. М., 1880, стр. 345—391; Н. Ф. Сумцов. Иоанникий Галатовский. (К истории южнорусской литературы XVII в.). Киев, 1884, стр. 5, 21, 22.

¹⁰ ГПБ, собор. Погодина, № 1659, л. 287.

ткуются, сиречь сочиняются, словом zelo смешным и теми, яже преступают к кошунству (шутке, — *Р. Т.*)».¹¹

Примеры и сравнения, заимствованные у светских авторов, могли приличествовать разве лишь темам нравственного обличения, но они неуместны ни в торжественном слове церковного праздника, ни в поучении истинам святого писания.

Даже прокатолически настроенный Симеон Полоцкий в громадном корпусе своих проповедей к сюжетам Эзопа обращается крайне редко. В «Обеде душевном», воскресные проповеди которого часто связаны с темами воспитания, эзоповские прилоги отмечены только трижды. В «Вечере душевной» — посмертном сборнике проповедей на господские и богородичные праздники и на дни святых — они отсутствуют совершенно.

Тем любопытнее пример памфлетно-сатирического применения эзоповской басни у иеромонаха Евфимия Чудовского, воспользовавшегося традиционной фабулой о волке и осле (в варианте Франческо Филельфа) в «слове» на тему «всяк возносяйся да смирится» (Лука, гл. 14, ст. 11), направленном против Полоцкого.¹² И дело не в том, что к Эзопу обращается «известный представитель строго-православной части на Москве», — жанр обличительного «слова» этому не препятствовал. Интересна прежде всего сама повествовательно-речевая архитектура «Слова»: динамическое единство ораторских периодов, вводящих темы обличения, и стремительно бойких, лепких рифмованных прибауток и ядовитых присловий, эти темы развивающих и квалифицирующих. При этом резкие переходы от ораторской славяно-русской речи к простонародно-бытовым интонациям и прибауточные включения служат у Евфимия отнюдь не пародийному разрушению церковно-книжной основы самого «Слова», а воспринимаются как гротескно заостренные формы карикатурной дискредитации сатирического адресата. Тут впервые, и задолго до Сумарокова, басня на Руси сталкивается с рэшиником.

Слово иеромонаха Евфимия*

Глаголет евангелист: ¹ всяк возносяйся — смирится, а смиряяйся — вознесется.¹

Есть бо во человецех творятся истинне главою, устами и² сердцем — сущим волчим, а не овчим.

Смирением челом бьет и кланяется до земли, дабы камень собрал³ и на главу твою метал; и некогда сказует: виноват! виноват!⁴ — а за дверми наготовал на тебя семь допат.

Смирение сие⁵ волчее, а не овчье.

Ведати подобает, како ся волк смиряет, когда ⁶овцу или коня уловляет:⁶ не точию главою челом бьет к земли пред овцею, но и на чреве ползает, и хвостом ласкательне гворит, и очима блискает весело, яко свещами.

Овца же⁷ разсуждает, яко то у волка и на сердце,⁸ что ⁹на очех⁹ и на хвосте.

¹¹ Там же, лл. 29 об. и 30 об.

¹² Список «Слова» находится в рукописи ГИМ, Синодальное собр., № 557, лл. 92 об.—95 об. и — не без ошибок — опубликован Н. Костомаровым в «Летописях русской литературы и древности» (М., 1859—1860, т. III, кн. 5, отд. 3. Смесь, стр. 17—19).

* Текст «Слова» воспроизводится по рукописи Синодальной библиотеки, № 557, с некоторыми сокращениями ораторской части. Вместе с тем в этот текст внесен ряд исправлений и дополнений по рукописи собрания Н. С. Тихонравова, № 249, лл. 437—439 (далее: *Т*), что всякий раз оговаривается в сносках, как и основные разночтения списков.

¹⁻¹ всяк убо смиряяся — вознесется, а возносяйся — смирится *Т*. ² *В ркп.* же и; *испр. по Т.* ³ собирал *Т*. ⁴ *В ркп. нрзбр.; испр. по Т.* ⁵ се *Т*. ⁶⁻⁶ *В ркп.* овцу уловляет или коня хватает; *испр. по Т.* ⁷ Нет *Т*. ⁸ сердца *Т*. ⁹⁻⁹ *В ркп. нет; доб. из Т.*

Нет, нет, бедная овечка! плюй на его челобитье!¹⁰ утекай от него, бежи, ибо стомах волков и чрево, яко пещь халдейская, на тебя распадается,¹¹ — згоршишь¹² без огня! —¹³ потолка ошибом ласкательствует, поколя зубов не рознял, а егда отворит, тогда тебе испод творит . . .

Слушайте пророка Исаи, глаголюща: людие мои, блажаще вы ловят!

Разумеите же, возлюбленнии, что он: дарование ли божие в тебе похваляет? — никакто то правда, но обманует, прельщает: потолка тебя хвалит, поколя не обманет, а как обманет, абие тебе, аки волк, потребит.

О окаяние волчий нрав! и что же то твое смирение? — человека снядение, поглощение. Кая ти отсюду прибыль, кая гордость? — да знаешь, с ким гадаешь!

Несть ли чел еси: таковым гордым господь противится, смиренным же дает благодать. Но и Соломон глаголет сия: помыслиша и соблазнишась, ослепи бо их злоба их, и не ведеша тайн божиих.

Христе, свете истинны! отими от нас сию злобу и слепоту, и даждь нам свет правды и истинны, благостыни и смиренномудрия!¹³

Повем вам, возлюбленнии, притчу о волце и о осле — на смиренно-лукавых, изряднее же¹⁴ на тех, котории¹⁵ людем зло десяти¹⁶ умышляют, по мале некогда и сами в нь¹⁷ впадают, по пророку глаголющему:¹⁸ ископаша яму и впадоша в ню!

О волце,¹⁹ яко уже¹⁹ есте²⁰ слышали, о его²¹ хитрости и коварстве.²¹
²²Прииде некогда волк ко ослу,²² на поли пасущемуся, и глаголет: «Дружек, здрав ли еси? Что зде²³ делаеши?»

Отвещает осел: «Челом бью на твоём добром вопрошении. Но не вельми здоров,²⁴ волочу ногу за ногу, не могу же²⁵ и травы²⁵ вкусити».

А волку то и на руку. Приближается волк и мяжкими словесы глаголет к нему:²⁶ «Дружек, како ти имя?»²⁶

Осел же яко дурень, обаче и в дурне некогда обретается²⁷ свой разум, рече волку: «Братец волк!²⁸ того тебе, прости мя, не умею сказати, забых, бо уже давно от отца и матери своей^{28а} отидох.²⁹ Толок единаче памятую, что имя мое они написаху³⁰ на копыте задние ноги. ³¹Аще хочещи знати,³¹ притчи: подыму³² яз копыто тебе³² горе».

Волк³³ же любомудрствующи,³³ хотя знати имя ослово, присмотруется, близ став,³⁴ на копыте писания. ³⁵Осел же его, яко пырнем, в чело ударив, — тогда ему весь мозг из головы выпал.³⁵

Лисица же³⁶ от стороны стоящи,³⁷ яко хитрая, — все знает, и вся гадания отгадани³⁸ их, — и без³⁹ толку разуме, и пришедши⁴⁰ к волку глаголет: ⁴¹«Откуда поздно изыде, тако же и прииде».⁴¹

Сия притча смешная, обаче тым не вельми потешная, которые коварствы своими людем сети претинают,⁴² некогда же сами себе ими уловляют, по пророку: в сети своей увязе грешник. . .

Включение мирской притчи в текст обличительного «слова» тут основывается не только на единстве темы или аллегорических образов. Оно с самого начала готовится избираемыми формами развертывания этого «слова» — его острыми композиционными и речевыми контрастами и широким привлечением просторечия. Так, первая же этически благовидная посылка: «со смирением челом бьет и кланяется до земли» — саркастически и неожиданно поворачивается своей действительной стороною:

¹⁰ В ркп. челобитье; испр. по Т. ¹¹ разгорется Т. ¹² згоршиши Т. ¹³⁻¹³ Нет Т. ¹⁴ Нет Т. ¹⁵ которые Т. ¹⁶ В ркп. делати; испр. по Т. ¹⁷ В ркп. ню; испр. по Т. ¹⁸ В ркп. нет; доб. из Т. ¹⁹⁻¹⁹ якоже уже Т. ²⁰ В ркп. есть; испр. по Т. ²¹⁻²¹ В ркп. коварстве и хитрости; испр. по Т. ²²⁻²² В ркп. который прииде некого ко ослу; испр. по Т. ²³ В ркп. зле; испр. по Т. ²⁴ здрав Т. ²⁵⁻²⁵ В ркп. и с травы; испр. по Т. ²⁶⁻²⁶ Нет Т. ²⁷ Вписано над строчкой; нет Т. ²⁸ Нет Т. ^{28а} Нет Т. ²⁹ В ркп. первоначальное поидох затем зачеркнуто и написано отразлучился; испр. по Т. ³⁰ В ркп. написали; испр. по Т. ³¹⁻³¹ Но аще хочещи знати, то Т. ³²⁻³² В ркп. ти ю; испр. по Т. ³³⁻³³ мудрствующи Т. ³⁴ Доб. смотря Т. ³⁵⁻³⁵ Так в Т; в ркп. текст испорчен лакуной и зачеркнут, под страницей же вписано другой рукою: Осел же имея велику силу в ноге, видев волка смотряща писмени на копыте, отведе копыто и елико скоро и силно пусти и улучи волка по губе и сотвори его пасти, аки бездушна, сам же отиде. Сия видевши последние два слова вписаны над строчкой. ³⁶ В ркп. зачеркнуто; восстановлено по Т. ³⁷ стояще Т. ³⁸ Нет Т. ³⁹ бес Т. ⁴⁰ пришед Т. ⁴¹⁻⁴¹ Так в Т, так первоначально в ркп., но затем зачеркнуто и написано: «Здравствуй откушав, а остатки осла побереги к завтраку». ⁴² препинают Т.

«дабы камень собрал и на главу твою метал», — и тотчас же квалифицируется непрекаемым приговором: «смирение сие волчее, а не овчье». И те же структуры опять варьируются в следующем цикле.

Непринужденность басенного рассказа предreshается тут и словно бы произвольным порывом обращения к доверчивой жертве: «Нет, нет, бедная овечка! плюй на его челобитье! утекай от него, бежи!» — со скороговоркой торопливо набегающих синонимов, за которыми контрастно следуют то библейские сопоставления, то бытовые присловия: «ибо стомах волков и чрево, яко печь халдейская, на тебя распаляется, — згоришь без огня! — потоля ошибом ласкательствует, поколя зубов не рознял, а егда отворит, тогда тебе испод творит».

И уже просто великолепен рассказ самой притчи. Включающие ее («Поведем вам, возлюблени, притчу...», «яко уже есте слышали») и замыкающие («сия притча смешная...») авторские скобки позволяют оратору как бы отстранить повествование и обратиться к сказу. Но и тут подвижное сочетание книжно-литературных и бытовых форм выражения опирается на структурную основу книжных при широко характерологической роли просторечных.

Понятно, что такая роль просторечия принципиально и качественно отлична от его использования в ряду разнохарактерных языковых форм приказно-деловой речи, как например в варианте той же басни в составе перевода Кашинского:

О коню со львом

Захотелось было льву конины, а когда для своей старости лев не мог осилить коня, учинился лекарем, чтобы его обманул. Увидевши (конь) иво хитрость, молвил ему, чтобы винял с ноги еиво увязлую кость. Лев того поднялся и стал осматривать кости, а конь тым временем что мел силы ударил его в лоб копытом и бежав от него прочь.

После лев с того удара чудь пришел к памяти и само о себе осудил, что годно за свою хитрость так терплю, а как а конь в том не виноват, понеже хитрость хитростию отбил, хотячи здрав быти.

Толк: несть ничево на свете хуже над лукавство: не так бо есть страшен неприятель видимый, аки человек лукав и хитр, который иное на языку, а иное на сердцу держит.¹³

Конечно, языковые формы этого изложения, ориентированного на приказно-демократические стили, тоже не идентичны просторечию. Обнаружить литературные претензии переводчика не так уж трудно — стоит взглянуть хотя бы на синтаксическое устройство текста. И тем не менее просторечие (с примесью свойственных языку переводчика многочисленных полонизмов) служит Кашинскому не как специфический источник экспрессивно-характерологических красок или оценок, а как естественно присущие (если и не единственно свойственные) переводчику языковые средства, что, однако, не лишало этого перевода стихийной образности и динамизма народной речи.

* * *

Таким образом, басня как жанр знакома была предпетровской Руси и по ряду обширных переводов, и как оригинальное творчество — будь то в прозаической или в стихотворной формах. Причем безусловно преобладает в течение всего XVII в. была книжная, славяно-русская традиция басенного жанра. Но тем интереснее, что и эта, книжно-литера-

¹³ ГПБ, Q.XV.16, лл. 15—16.

турная традиция басни также не исключала использование просторечия. Обращение к живой речи (на фоне строго сознаваемой книжно-литературной нормы) тут оказывалось органически связанным с зарождением и проявлением новых, даже оригинальных факторов басенного жанра — композиционно-художественных и экспрессивно-повествовательных. Именно в экспрессивной мобилизации народно-речевых элементов раёшника находит книжник Евфимий средства памфлетно-сатирического преломления традиционных басенных сюжетов, равно как и средства концентрированного гротеска и даже личных интонаций то иронического, то негодующего рассказчика, — особенности, так характерные впоследствии для притч А. П. Сумарокова и столь знакомые нам по выпадам Сумарокова против его литературных противников. Разумеется, масштабы такой мобилизации не идут ни в какое сравнение с сумароковскими, но тем не менее басне в России XVII в. они знакомы. И выявление и прослеживание возможных тут преемственных связей или зависимостей были бы небезынтересными как для исследования поэтики и стилистики сумароковской притчи, так и для истории самой русской басни в целом.

В свое время Белинский писал по поводу басни: «Выдумать сюжет для басни теперь ничего не стоит, да и выдумывать не нужно: берите готовое, только умеете рассказать и применить. Рассказ и цель — вот в чем сущность басни; сатира и ирония — вот ее главные качества». Вышее воплощение этих качеств Белинский находил в баснях Крылова. Но поиски и становление живых повествовательных форм басни и ее сатирических качеств на Руси намечаются задолго и очень задолго не только до Крылова, но даже и до Сумарокова.
